

* * *

Вот озеро лежит упавшей каплей неба,
и жалюзи дрожат. Закрытая лаборатория.
Кружит разнообразье птиц, как будто накрошили хлеба,
густеет темная вода и глохнет в лягушином хоре.
Стоит лысуха под прямым углом к превратностям судьбы,
сияет пятнышко на лбу, как кандидатский минимум.
Наверно, скоропись ужей являет формулу воды
для двух сверхзвуковых стрижей, что пролетают мимо.
Кряхтят корявые стволы и, тужась, почки выпускают,
как папа перед самой смертью все вспоминал латынь:
Betula, Populus tremula, хоть не дожил до мая,
но сохранился перевод с латыни – на мою ладонь.

* * *

И рады бы были поговорить
растолстевшие от тоски тяжеленные словари,
истерзанные любовью, сэкономившие на эмоциях,
чьи сны грохочут по кровлям в молочных утренних лощах.
Пробуждение, шлюзование, выныриваем на поверхность,
которую нарисовали нам случайность и неизвестность.

* * *

Затеешь рвать черновики – червато!
Бог весть, что там во тьме, в глубинах ящика.
Забвенья камфара и равнодушья вата,
и вдруг – заноза сердце расщепит!
Подкидыш, в недрах общепита выращенный мальчик,
как первый снег опустится на лист.
И встрепенутся парки, мойры, нервы
начнут разматывать огромные клубки,
что начаты еще до двадцать первого
столетия, когда деревья были глубоки.
Так близко каждому вот это неуменье,
и так понятен страх, сказать хоть что-то,
что даст понять, что автор пребывает

в отчаянье (отчаяние тоже прибывает),
поняв тщету писания стихов.
Спасибо за проявленное мужество.
Спасибо за немодную любовь.

* * *

В зиму две тыщи двадцатую от рождества Христова
абонентский ящик земли всё также стоит пустой,
голый. Нет даже снега.
Твоя переписка с Богом –
твой редкий слезный дар –
всё тоньше,
всё глубже уходит в почву.
А в високосном году
можно плакать на день больше

* * *

Давайте-ка еще одну в чреде реинкарнаций.
Мне нравится, что можно быть то птицей, то собакой,
то шебуршаться у ствола, а то – в ветвях акации,
и в бесконечности воды быть препинанья знаком.
Из раннего, из глубины, где я была медведкой,
хитиновым рендж-ровером, кроссовером, нет, крайслером.
Соленый сок корней травы, сопротивление тверди
моим подземным устремленьям во тьме кромешной и бескрайней,
усердствуя не ради сытости, ища пути наощупь
к тому, что скрыто и зарыто и пребывает вотще,
И где-то крылья за спиной, мне не увидеть их конца,
зачем мне крылья под землей? Ирония творца.

1 МАЯ

Бродят соки в темноте вальпургиевой ночи,
натываясь на стволы, на ощупь, по наитию,
тиной маленьких озер, где в молоке клокочет
лягушек неумолчный хор, требуя развития,
возни, восторгов, тонких струн –
нанизывать росу и ландыш,
и майский жук уходит в грунт,
в чабрец заброшенного кладбища,
шипят хвощи, снуют во мраке,
лоснится черный плащ плюща,
лещи, как мокрые собаки,
гоняют в заводи щучат.
Веселые усилья листьев,
колени, крылья – мир неистов,
свист соловья, полёвки шорох,
туман густеет, будто творог,
так плотен – хочешь, режь ножом,
и каждый атом обнажен.

А вот и Пан, но он пропал
в своей телесности и тучности,
и космос, требующий точности,
столь удивлен сияньем, сочностью
планет и звезд, небесных тел,
что обессилел и вспотел.
Его сменила у руля Вселенной
влажная земля.

* * *

Тут дальше я запишу для памяти обо всех своих поездках:
в Пизу, Ливорно,
в Болонью, Поджио, Феррару,
Франколино, Кьоджу и Венецию.
В начале апреля я поехал в Пьетра Санта, Сарцану,
Леванто, Сестри, Портофино,
Геную, Понтедечино, Буцалью,
Серравалле и Павию.
Затем морем – в Савону,
в Сан Ремо в апельсиновых рощах,
в Монако и оттуда пешком в Турцию,
затем в Ниццу и Прованс,
в Грасс, в Понт-а-Герон, Драгиньян,
Бриньоль, Экс, Сен-Кантен и Оргон.
И после поехал в Падую, а затем в Виченцу и Верону.
Затем снова я поехал в Венецию,
Далее морем в Градо и затем в Аквилею,
где потерял лошадей.
Позднее был я в Кастильоне, Кортоне,
Читта ди Кастелло, Римини, Модене.
Ездил в Тараскон, Вьен, в Лион на Роне,
В Труа, Тренель и Париж.
Но и здесь никто не стал печатать моих стихов
(не совпадают с редакционной политикой).

* * *

Не плачь, Чайковский, этот май пройдет.
Тебе ль не знать, как иссякают ливни?
И как ладонь на лоб, на клавиши кладет
прохладу этих струн, любимых и обильных,
болезненных. Измучен нотный стан.
Сухая алгебра сочтёт все цифры, доли
и длинной формулой измерит горе
утопленницы, чей лилейный стан,
стон, смех и прочие речные процедуры –
суть нотная безграмотность влюбленной дуры.
И белым лебедем спадают на пол листья партитур,
струится линия воды, всё более горячей
и красной, и тяжелой, будто ртуть. Ты стар, и сир, и хмур.
Гардина вздулась и опала. Майский ливень плачет.